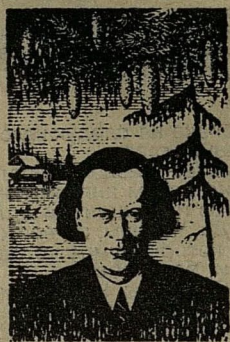


Иван  
ЕВДОКИМОВ

## «СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ» ЕСЕНИНА

В середине июня 1925 года в Литературно-художественном отделе Госиздата возникла мысль об издании «Собрания стихотворений» Сергея Есенина. Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании, но он был или нетрезв или занят своими предвзвешенными приготовлениями. Эти последние в конце концов и послужили внешним поводом к ускорению дела. Была в Есенине, по-моему, одна черта: он ясно и отчетливо помнил трезвым все, что говорилось с ним за несколько дней до того, когда он был пьян. Однажды он пришел довольно рано.

— Евдокимыч, я насчет моего «собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег. Только надо скоро.

Я его осведомил, что едва ли можно будет сделать так скоро, как он предполагает: договор на большую сумму, необходимо будет получить согласие вышших органов Госиздата и, конечно, поставить дело на «формальные» колеса, подать заявление, сговориться об условиях и т.д.

Дня через два он появился с Наседкиным и под мою диктовку наспех написал следующее заявление:

«В Литературный Отдел Госиздата Сергея Есенина.

Предлагаю литератур. отд. издать собрание моих стихотворений в количестве 10000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные по ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г., сроком издания на 2 года, тиражом не более 10000 т. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. Сергей Есенин. 17/VI—25.»

Все условия его были приняты, кроме одного: единовременной выдачи двух тысяч рублей. Летние месяцы — время обычного затишья в книгопродавческой деятельности — были трудными, и Госиздат вынужден был сводить свои расходы до минимума. Через неделю, 30 июня был подписан договор: поэт обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. С июля началась выдача денег по тысяче рублей ежемесячно. Факт заключения договора с Есениным по вышней ставке — рубль за строку, никому из других поэтов не назначаемой, свидетельствовал о той высокой оценке есенинского творчества, какая была в Государственном издательстве. Кроме того, Госиздат договорился с поэтом о печатании всех его вновь написанных стихотворений отдельных книжками, после предварительного их распубликования Есениным в периодической печати. Как общее правило, стихи на рынке идут плохо — эпоха наша полуравнодушна к стихам — и даже стихи Есенина, например «Березовый ситец», шли медленно, тем не менее Госиздат почел своей обязанностью издать его «Собрание стихотворений».

Надо было видеть ту редкую радость, которая была в синих глазах Есенина, когда дело закончилось во всех инстанциях.

— Евдокимыч, — говорил он, — я написал тысячу пятнадцать строк. Я, понимаешь, отберу самое лучшее, тысячу десять. Этого довольно: будет три тома. Понимаешь, первое мое «собрание». Надо издать только хорошо. Я теперь примусь за работу.

Обращение Есенина ко мне объяснялось тем, что главным образом мне пришлось иметь с ним дело в оформлении разных деталей: заведующий отделом Н.И. Николаевым мне это было поручено особо.

Уже вскоре Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся, засмеялся и он.

— Это ничего, — смеясь говорил Есенин, — я, понимаешь, как-нибудь найду, мы с тобой вместе и разберемся.

У него не было никакого плана издания, рукопись была неудобна для набора, в разных местах попадались одни и те же стихотворения, поэмы мешались с ранними стихотворениями и наоборот, истрепанные лоскутки старых газет ле-

жали рядом с переписанными от руки стихотворениями, конечно, без знаков препинания, — словом, смещение по черков, разных машинок, газет, вырезок из журналов, полная неразбериха... Отоложили до более благоприятного случая. А летом внезапно, не сказавшись, Есенин исчез — в Баку. Прождали месяца два. В августе мне поручили написать ему письмо. Ухмыляясь и стремясь быть строгим и официальным, я послал ему письмо, в котором напомнил о невозможности производить набор по его оригиналам, об отсутствии всякого плана издания и просил подумать его, в каком виде он хочет издать «Собрание стихотворений». Тут же указал несколько возможных видов издания: хронологический, по циклам, по родам и видам поэзии. Ответ получил по телеграфу: «Приезжай». (31/VIII.) Скоро он появился в Москве. После женой Софьи Андреевны рассказывала, что письмо его встревожило и явилось поводом уехать из наскуившего ему Баку, отменив назначенную поездку в Тифлис и Абас-Туман.

По возвращении он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы вдвоем, усевшись тут же за стол, работали над расписанием стихотворений.

— Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так, — заговорил он, появившись в первый же раз после приезда, — я обдумал... В первом томе — лирика, во втором — мелкие поэмы, в третьем — крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?

— Как ты хочешь, — отвечал я — это твоё дело. Мы тебе не будем подсказывать никакого другого способа, лишь бы можно было скорее приступить к работе.

Остановились на распределении по родам и видам поэзии. Есенин унес из отдела свою непрочитанную рукопись стихотворений, еще более разраставшуюся, так как за время его отсутствия она неоднократно была читана в отделе разными людьми.

Недели через полторы стихи вернулись в более налаженном виде, но, увы — и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе соединялось по несколько стихотворений без начала и конца, кое-где было по несколько дат, зачеркнутых и перечеркнутых и опять восстановленных, не соблюдена строгость, тексты не сверены после машинистки и т.д.

Нетрудно было рассердиться на другого, но на этого обязательного человека, серьезно и детски синевшего глазами на тебя, было свыше человеческого сил рассердиться.

— Теперь, кажется, совсем хорошо, — торопливо сулил он у стола, — тут вот — лирика, тут — поэмы. Я еще подбавлю. Соня переписывает.

Тогда и условились еще раз-два просмотреть рукопись вместе со мной в отделе.

Поэт пил, скандалил. Краснея потухавшими глазами, он мелко заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидях, собирався куда-то уехать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти — и не заходил. При таком же его состоянии работа над изданием была немислима.

Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.

Мы усадили за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубокая усталость, он капризно, покрикивал на жену, был груб с нею... И тотчас, наклонясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:

— Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?

А потом сразу сержался:

— Что же ты переписала? Где же то-то, понимаешь, недавно-то я написал? Ах, ты...!

И так мешались грубость и ласка все время.

В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак.

— Сержа, ты раздэнся, — подсказал я, — тебе будет удобнее.

А в душе думалось — вот он выйдет сейчас потный на улицу, простынет — и чихотка доделает свое дело. В эти осенние месяцы я много раз слышал рассказы о чихотке у поэта, об этом даже писал какой-то неловкий репортер одной из московских газет, сообщая о своем свидании в Италии с Максимом Горьким, который будто бы сказал:

— У Есенина горловая чихотка. Тут уж ничего сделать нельзя.

Общее настроение отражалось и на мне.

Он скинул пальто и кашне и, будто всегда делал так, подал их жене, а та, словно всегда раздевала его, взяла и спокойно положила на соседний свободный стол. Не скрою, я испытал неловкость.

Есенин торопливо, умело и знакомо шабашилась в рукописи, видимо, помня каждое стихотворение, где оно лежало, и складывал их грудкой. Листки располагались, он сел, хватал их... Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном

Софьей Андреевной произведении и ворчал:

— Соня, почему ты тут написала 14-й год, а надо 13-й?

— Ты так сказал.

— Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних... Нет! Не-е-т!

Есенин задумывался.

— Нет, ты права! Да, да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказываться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин пересказывал от одного тома к другому, переделывая по несколько раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитулы и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего не доставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номак».

— Это что? — спросил я.

— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номак это Махно. И Чекисты, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переименую. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

— А мне жалко названия «Страна негодяев», — сказал я. — Номак очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать!

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы, начиная с января, выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректуре, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжки и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве». Был он под сильным влиянием. Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

— Это мое первое детское стихотворение, — кончил, сказал он.

Все улыбаясь и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и закрепили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного болезненным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» — первой книги поэта.

— Понимаешь, Евдокимыч, — как-то тревожно похрипывал он, — будет три толстых книжки. Ты только забуде стихотворение пусти с новой страницей, как вот Демьяна Бедного печатают. Не люблю я, когда стихи печатают, как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих произведений.

# СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Софьей Андреевной произведении и ворчал:

— Соня, почему ты тут написала 14-й год, а надо 13-й?

— Ты так сказал.

— Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних... Нет! Не-е-т!

Есенин задумывался.

— Нет, ты права! Да, да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказываться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин пересказывал от одного тома к другому, переделывая по несколько раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитулы и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего не доставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номак».

— Это что? — спросил я.

— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номак это Махно. И Чекисты, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переименую. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

— А мне жалко названия «Страна негодяев», — сказал я. — Номак очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать!

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы, начиная с января, выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректуре, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжки и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве». Был он под сильным влиянием. Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

— Это мое первое детское стихотворение, — кончил, сказал он.

Все улыбаясь и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и закрепили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного болезненным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» — первой книги поэта.

— Понимаешь, Евдокимыч, — как-то тревожно похрипывал он, — будет три толстых книжки. Ты только забуде стихотворение пусти с новой страницей, как вот Демьяна Бедного печатают. Не люблю я, когда стихи печатают, как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих произведений.

## НА ДЕРЕВЯННОМ ДИВАНЧИКЕ

В августе месяце литературно-художественный отдел перевел по тому же коридору во втором этаже в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами, с дурным архаическим отоплением (устаревшая Амосовская система), с переполненным комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И завели: не курить в комнатах. В коридоре у дверей поставили маленькую для троих деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел несколько минут своей жизни.

И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закурился — и выходил в коридор. Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случилось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру. Вид его был неизменно одинаков: расстегнутое пальто, шапка или шляпа, высоко сдвинутые вверх, кашне, наклон головы и плеч вперед, размахивающие руки... Какое-то глубочайшее усталое было в нем, совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой поэмы и поэтики. И еще издали рассиневавшиеся чу-

десные глаза на белом лице, будто слегка посеревший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя. Связных воспоминаний я не сохранил, потому что не записывал, не было в этом нужды, казалось, и без записи все запомнится надолго. И все не запомнилось: память оказалась коварна, кое-что она упорно подкашивает, но без должной убедительности. И то, в чем я не уверен, я не пишу. Некоторые моменты запомнились настолько ярко, будто они были сейчас, и я слышу его веселый и негодующий, и капризный, и отчаянный голос. Эти чисто фрагментарные, мозаичные моменты были таковы.

Как-то в октябре он горько и жалобно кричал на диванчике:

— Евдокимыч, я не хочу за границу! Меня хотят отправить лечиться к немцам! А мне противно! Я не хочу! На кой черт! Ну их, немцев! Тыфу! Скучно там, скучно! Был я за границей — тошнит меня от заграничности! Я не могу без России! Я сдохну там! Я буду волноваться! Мне надо в деревню, в Рязанскую губернию, под Москву куда-нибудь, в санаторий. Ну, их к...! Этот немецкий порядок акkurat-вокурат мне противен!

— А ты не ездил, — отвечал я, хотя в душе думал противоположное.

— Не поеду! — решительно махнул рукой пьяный поэт. — Я давно решил.

На глазах у него были слезы.

— Меня угаривают все — и Берзина, и Воронский. Они не понимают — мне будет там хуже. Я около там по России. Ах, Евдокимыч, если бы ты знал, как я люблю Россию! Был я в Америке, в Париже, в Италии — скука, скука, скука! Я люблю Москву. Москва очень хороша ночью, когда луна... Днем не люблю Москву. В деревню я хочу на месяц, на два, на три! Вот тут мы с Воронским поедем дня на четыре в одно место... Это хорошо! За границей мне ничего не написать, ни одной строчки!

В то время, как я слышал, родственники проецировали отправить его в Германию в какой-то особенно оборудованный санаторий. Но он, кажется, действительно отказался поехать.

В другой раз он приходил трезвый и принес несколько стихотворений в первый том «Собрания». Разговор коснулся литературы. Улыбаясь и лучась глазами, Есенин говорил:

— Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать.

Кто-то, не помню, из бывших при этом писателей сказал:

— Ты в последнее время совсем пишешь под Пушкина.

Есенин не ответил. А кто-то другой добавил:

— Пушкинские темы, рифмы, а выходит по-своему, по-есенински... Выходит здорово, захватывает прозрачностью и свежестью!

Тогда же разговор перекинулось на пушечки и напостовцев. Писатели тут были одни полутитки. Есенин внимательно слушал разговор, принимавший довольно жестокий характер в оценках отдельных писателей, он больше молчал, будто высматривая что-то за льющимися потоком зрительных фраз. Только один раз он невесело, морщась, сказал:

— Ну-у и! Левелеч писал обо мне, а мне смешно!

Несколько раз он на этом же диванчике рассказывал мне о младшей своей сестре Шуре, всегда с неизменной любовью и словно бы с каким-то удивлением. В разное время он меня раз пять знакомил с ней, держа у ней на плече руку и заглядывая сверху в глаза. Смеялась молодая девушка, смеялась я.

На второй день смерти наркомвоенмора М.В. Фрунзе тут же разыгралась такая сцена. Есенин пришел пьяный до последней степени: он шатался и даже придеживался за стены. Возбужденный, дрожащий, захлебывающийся голосом, таща и дергая полу своего пальто, Есенин кричал на весь коридор:

— Это он, Фрунзе! дал мне пальто! Мне жалко, жалко его! Я плачу.

В это время, должно быть, на крик, вышли из нашего отдела два молодых еврей-канцеляриста. С одним из них он знаком был по Баку. Этот бакинских юноша поздравлялся с ним, правда, несколько фамильярно. Есенин приветливо подал ему руку. Юноша дальше совершил новую неосторожность. Опершись на плечо Есенина, сидевшего со мной на диванчике, он спросил:

— Сергей, ты отдал дома тысячу, которую вчера получил у нас? А? Отдал?

Юноша сунулся не в свое дело. Есенин криво ухмыльнулся и как-то беспомощно пробормотал:

— Да, да! Я отдал!

А потом стал внезапно шуршать, глядя на него и совершенно неожиданно в величайшем раздражении закричал:

— Ты, Левка, ж-жид! Пош-шел вон! Убирайся!

Юноша побелел, повертелся и ушел. Другой еврей продолжал в стороне курить.

Где-то на юге Есенина обокрали. В Баку какое-то общество имени Фрунзе поднесло Есенину пальто.

Есенин злобно шипел:

— Ж-жидовская морда! Что ему от меня надо? Ж-жид пархатый! Мы тут, Евдокимыч, разговариваем с тобой о своем деле, а он... он стоит! Кто его звал?

И опять начал говорить о Фрунзе.

— Мне жалко, жалко! Я знал его. Запечатанный был человек!

Через две-три минуты мы зашли в отдел. Скоро Есенин собрался уходить. Вдруг он подошел к «Левке», работавшему за столом, обнял его, поцеловал и радостно сказал:

— Левушка, ты приходи к нам сегодняя! Юноша бывал у Есенина, и они условились о встрече.

## НАКАНУНЕ

Есенин редко приходил один, а всякий раз с новыми людьми. За два года я перепознался через него по крайней мере с 20—30 человеками, которых потом ни разу не встречал. Все они были на «ты» с ним, чаще всего производили неприятное впечатление и вызвали к себе какое-то недоверие. По большей части эти люди молчали, глаза у них заискивающе бежали, или эти люди были чванливы, грубо подчеркивая свою близость к знаменитому поэту. Чрезвычайно редко приходили с ним люди, которые могли держаться естественно.

Зрелище это было гнусное, отвратительное... Невольно просыпалась в душе жалость к Есенину, окружающему себя «людской пустотой», и враждебность к его свите. Тем более переживалось это чувство, что поэт, по крайней мере внешне, был нежен к своим «плавающим и путешествующим» спутникам. И обычно на утро после таких «выходов» Есенин на ползли слухи, что поэт прокутил все деньги, спутники исчезли, у поэта идет горлом кровь, дни его сочтены, лечиться он не хочет, сбежал с консилиума и проч.

В течение 1925 года у всех, для кого Есенин был несравненный и первоклассный лирик нашего времени, для кого он был дорог как обязательное человеческое видение, мелькнувшее необыкновенными своими глазами, добрейшей улыбкой, стройнейшим и легчайшим станом, была душевная тревога и печальное предчувствие скорой развязки.

Было до очевидности ясно, что поэт горел каким-то внутренним огнем, расправлял этот огонь, тушил в нем слезы, простым и банальным запоем ничего объяснить тут было нельзя. Пьяный разгул Есенина не мог ввести в заблуждение, он не мог казаться случайным, под ним грустно видели тягчайшую душевную драму, тайну которой мы не знаем, несмотря на сотни посмертных «вещающих» статей, и которую едва ли мы когда узнаем. Жесткий самосуд, произведенный поэтом ночью 28 декабря, окончательно и всех убедил в серьезности его страданий. Предотвратить развязку, видимо, было невозможно: поэт шел к ней, глубоко так созревавшее намерение от самых близких и родных людей. И никому, никому он не доверил своей тайны: внешне он был как бы со всеми нарастающе, весь непокая, даже вызывал подозрения в глубине своих переживаний, а духовно, внутренне, оставался только с собой, с глазу на глаз, наедине. Но как было радостно, когда узнавали: «Есенин не пьет, четыре дня трезвый, работает, пишет, в одно утро написал несколько стихотворений!...» «Передышка» обманивала, любящие люди жадно начинали верить в возможность устойчивой, прочной перемены в его жизни, замирали страхи, надежду хотелось усилить — удвоить, учетверить. Но больше было таких, кто недоверчиво качал головой, морщился от «прекраснодушия» легковых друзей и безнадежно махал рукой.

Помню такой случай. Разговаривали в одной редакции о Есенине.

«Не пьет», «не пьет», «едет лечиться», — говорили писатели и родственники, — «кажется, все обойдется. Исследование врачей дало благоприятные результаты».

Известный критик, бывший тут, вдруг задумался, горько улыбнулся и сказал:

— Ерунда! Он вчера был у меня. Принес бутылку... и пил стаканами.

Кто-то невесело засмеялся — и неоправдано, безнадежно опять нависло над обманувшими людьми.

Около половины декабря Есенин пришел в сопровождении нового незнакомца человека. Я знал, что он находится в психиатрической клинике, куда, как рассказывала тогда же жена Софья Андреевна, он захотел сам. Должно быть, видя мое удивление на лице, Есенин с обычной своей милейшей улыбкой сказал:

— А я из клиники вышел на несколько часов, потом опять обратно. Вот и доктор со мной. Мне, понимаешь, Евдокимыч, там нравится. Я пришел поговорить с тобой об одном деле.

Встретились мы на знакомом диванчике. Я не понял, какой его доктор сопровождает, но по правде сказать, принял это как шутку. Доктор остался сидеть на диванчике, а мы вошли в комнату и сели к моему столу. Как будто бы Есенин

СЕРГЕЙ  
ЕСЕНИНСОБРАНИЕ  
СТИХОТВОРЕНИЙ  
ТОМ ПЕРВЫЙ

ГОСТААРТСТРОЕНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

был немного пьян. Он наклонился ко мне и почему-то, мне показавшись, стеснялся, сказал:

— Понимаешь, Евдокимыч, я не хочу никому давать моих денег — ни жене, ни сестре, никому...

— Ну, и не давай, — говорю я. — Что тебя это беспокоит?

Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина: то жене, то двоюродному брату Илье Есенину. До женитьбы поэта на С.А. Толстой деньги получала сестра его Е.А. Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе в кассе деньги Есенину не выдавать или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настоящих поэты затгивали выдачу до 3 часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем